



# ЗНАМЯ

Ежемесячный  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал

Выходит  
с января 1931 года

## Содержание

**2**

**ФЕВРАЛЬ  
1992**

Фазиль Искандер. Человек и его окрестности. Роман	3
Александр Кушнер. Девять стихотворений	34
Марина Бернацкая. Серафима, ангел мой. Повесть	38
Алексей Цветков. Новые стихи	63
Вячеслав Пьецух. Заколдованная страна. Повесть	67
Белла Дижур. Стихи разных лет	108
Белла Улановская. Боевые коты. Рассказы	112
Виктор Козько. Спаси и помилуй нас, черный аист. Повесть. Окончание. Перевел с белорусского автор	123
<b><u>Мемуары. Архивы. Свидетельства</u></b>	
Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам. Публикация и примечания И. Сиротинской	158

Москва  
Издательство  
«Пресса»



# ПЕРЕПИСКА ВАРЛАМА ШАЛАМОВА И НАДЕЖДЫ МАНДЕЛЬШТАМ

Москва, 29 июня 1965 года

М Дорогая Надежда Яковлевна, в ту самую ночь, когда я кончил читать вашу рукопись<sup>1</sup>, я написал о ней большое письмо Наталье Ивановне<sup>2</sup>, вызванное всегдашней моей потребностью немедленной и притом письменной «отдачи». Сейчас я кое в чем повторяюсь. Кроме того, устное и письменное слово различно по своему возникновению, своей жизненной природе. Центр письменной речи вовсе в другой части мозга, чем устный центр. Сущность чтения ораторами докладов — это насилие над традицией устного слова и над природой письменного. Но это все к слову.

Рукопись эта, как, впрочем, и вся ваша жизнь, Надежда Яковлевна, ваша жизнь и жизнь Анны Андреевны, — любопытнейшее явление истории русской поэзии. Это — акмеизм в его принципах, доживший до наших дней, справивший свой полувековой юбилей. Доктрина, принципы акмеизма были такими верными и сильными, в них было угадано что-то такое важное для поэзии, что они дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на трагическую смерть.

Список начинателей движения напоминает мартиролог. Осип Эмильевич умер на Колыме, Нарбут умер на Колыме, судьба Гумилева известна всем, известно всем и материнское горе Ахматовой. Рукопись эта закрепляет, выводит на свет, оставляет навечно рассказ о трагических судьбах акмеизма в его персонификации. Акмеизм родился, пришел в жизнь в борьбе с символизмом, с загробщиной, с мистикой — за живую жизнь и земной мир. Это обстоятельство, по моему глубокому убеждению, сыграло важнейшую роль в том, что стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Нарбута остались живыми стихами в русской поэзии. Не стихи, а люди, которые писали эти стихи, оставались вполне земными в каждом своем движении, в каждом своем чувстве, несмотря на самые грозные, смертные испытания. Большие поэты всегда ищут и получают нравственную опору в своих собственных стихах, в своей поэтической практике. Нравственная опора искалась и вами, и Анной Андреевной, и Осипом Эмильевичем в течение стольких лет — на земле.

<Эти вопросы> у нас достойны большего акцентирования. Это ведь один из главных вопросов общественной морали, личного поведения.

Тут не только исконная русская черта — желание пожаловаться, а и желание просить разрешения у высшего начальства по всякому поводу. Это и тот конформизм, именуемый «моральным единством» или «высшей дисциплинированностью общества». Это и желание написать донос раньше, чем написали на тебя; это и стремление каждого быть каким-то начальником, ощутить себя человеком, причастным к государственной силе. Это и желание распоряжаться чужой волей, чужой жизнью. И главное всего — трусость. Говорят, что на свете хороших людей больше, чем плохих. Возможно. Но на свете 99 процентов трусов, а каждый трус после порции угроз — превращается вовсе не в просто труса.



Рукопись отвечает на вопрос — какой самый большой грех? Это — ненависть к интеллигенции, ненависть к превосходству интеллигента. Я добавлю — давление на чужую волю, игра чужой волей, распоряжение чужой жизнью.

Рукопись показывает, как велико повседневное, ежечасное напряжение многолетней Сорьбы с доносчиками и осведомителями всех возрастов и всех рангов. Но велика и сила сопротивления — и эта сила сопротивления, душевная и духовная, чувствуется на каждой странице.

У автора рукописи есть религия — это поэзия искусства. Застрочно, подтекстно; религия без всякой мистики, вполне земная, своими эстетическими канонами наметившая этические границы, моральные рубежи.

Все большие русские поэты, для которых стихи были их судьбой — Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Анненский, Кузмин, Ходасевич, — писали классическими размерами. И у каждого интонация неповторима, чиста — возможности русского классического стиха безграничны.

18 июля <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

У меня есть новость: у воронежского издательства, которое собиралось издавать «Воронежские тетради», их вычеркнули из плана. Причина: книга в плане ленинградского издательства. Все, как видите, в порядке. Будем с вами продолжать подсчет отказов.

В Верее хорошо. Лучше, чем в Тарусе: тише. Холодно. Но это всюду. Мне до черта все надоело. Я не могу использовать вашего секрета молодости, потому что сильные чувства мне тоже надоели. У меня их больше нет, и очередной отказ я приняла с тупым равнодушием.

Мой адрес: Верея Наро-Фоминского района, 1-ая Спартаковская, 20, Шевелевой для меня...

Другой ваш совет — «помнить» — храню свято. Совет, впрочем, был не прямой — это ваш рассказ о том, как вы выбирали фотографию к книге. Помните? Что делать? Грустно...

Н. М.

Какой номер дома: 6 или 10?

Москва, 21 июля 1965 года

Дорогая Надежда Яковлевна! Писал вам вслед, чтобы не прерывать разговор, но адрес верейский я не догадался записать, когда был в Лаврушинском, а моя проклятая глухота задержала больше, чем на сутки, телефонные поиски. А тут и ваше письмо. Адрес мой: Москва А-284, Хорошевское шоссе, дом 10, квартира 2. (10, а не 6). Но сомнение в номере дома не задержало доставки. Благодарю вас за письмо сердечно, хотя и огорчительны известия крайне. В наше время выход хорошей книги — чудо, самые неожиданные рогатки возникают на этом скорбном пути. Это не сюрпризы судьбы, а сознательно созданные государством препятствия.

Какому-нибудь Николаю Асанову<sup>3</sup> можно было выпускать по 7 романов в год, а Мандельштаму будут создавать препятствия до конца — и вам это должно быть известно. Я не думал, что последуют такие постыдные объяснения. Собранности духовной, трезвости взгляда вам не занимать. Еще может быть какой-нибудь поворот и обратный, чисто случайный. Для того, чтобы выключение из плана «Воронежских тетрадей» было новостью, которую ни объехать, ни обойти, я позвоню сегодня Е. С. Ласкиной<sup>4</sup> и увижусь с нею завтра.

Что касается секрета молодости, то — это ведь не моя находка. У Мандельштама сказано о «молодящей злости». Есть и еще примеры. Я же эмпирически установил и многократно проверял, что чувства человека располагаются в постоянном порядке, воскресая и умирая, возвращаясь и снова уходя. К собственным костям ближе всего злость, за злостью следует равнодушие, за равнодушием — ужас, страх, голод, зависть, любовь. Открытие в том, что равнодушие не последнее чувство в человеке. Злость глубже равнодушия.



Возникает возможность повидать вас в Верее. Елена Алексеевна<sup>5</sup> (это знакомая Натальи Ивановны, которую я встретил у вас) поедет на своей машине в Верею к вам и обещает взять к вам меня. Это будет в одно из воскресений августа, первого или восьмого, — будете ли вы мне рады в Верее, как были рады в Москве? Напишите. Может быть, с этой машиной приедет Наталья Владимировна<sup>6</sup> и уедет (машина должна вернуться в воскресенье, чтобы никто не терял рабочих дней). Я у Натальи Владимировны тогда, в вашей квартире, свои рассказы взял, а через два дня вернул. Сборник «Артист лопаты» должен иметь концовку «Поезда». Туда вставлено два новых рассказа, которые я не успел вам показать («Погоня за паровозным дымом» и «РУР»). Эти рассказы я привезу с собой. Привезу и еще кое-что из записей разного рода. Рассказы в «Артисте лопаты» перегруппированы чуть-чуть. Мне кажется, будет лучше. «Академик» перешел в другой сборник, который будет называться не «Уроки любви» (это будет название одного из рассказов), а «Левый берег»<sup>7</sup>, официальное географическое название колымского поселка, где я прожил 6 лет.

Если бы мне пришлось читать курс литературы русской последнего полувека, я начал бы первую лекцию, как Парацельс, — сжег бы все учебники на площади перед студентами.

Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити. В поисках этой утраченной связи, этой ариадниной нити разорванной, молодежь тянется наугад, цепляясь даже за Мережковского, что ранит мое сердце очень глубоко, Мережковский — очень неподходящая фигура.

Как бы ни культурен был Кузмин, как бы он ни знал законы стиха, <ни> мог экспериментировать — был человеком универсального образования, — у Кузмина не было главного, ради чего пишут стихи. Главного, о чем и шел <ваш> разговор с молодым человеком, любящим кино (который принес Хлебникова). Вместо суждения декларативного надо было показать две строки из стихотворения:

Часто пишется: казнь, а читается правильно — песнь,  
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь...<sup>8</sup>

Вот весь Кузмин стоит вне этих строк. К большой поэзии Кузмин не относится все же, хотя я знаю и люблю, и ценю Кузмина, это стихи, которые еще доставят радость любителям поэзии. Но страсти его стихи не вызовут, человеческого сердца не сожмут, не заставят кровь бежать быстрее по жилам.

А то, что говорила Анна Андреевна о том, что стихи не то, что мы думаем в юности, — так, мне кажется, в этом верном утверждении речь идет не только о мудрости возраста, не только о том, что с возрастом приходишь к мысли, что только мысль, только смысл, только глубина содержания сближает с читателем. Тут дело не только в том, что нужно быть гораздо серьезнее и умнее, и вовсе не звуковые побрякушки становятся главным, — но и в том, что сами стихи приобретают характер судьбы, являются в виде некой исповедальности, проверенной собственной искренностью и правдивостью. Но и в том, что все в стихах гораздо серьезней, гораздо жизненно важнее, чем казалось в юности. Поэзия в этом смысле никогда не была делом молодых, а была делом седых.

Тут <дело> не только в том, что у взрослого поэта приоритет переходит к мысли, к уму, но и в чрезвычайной требовательности нравственного чувства. Нравственное чувство это не логическая категория. А в этом смысле требования поэта к самому себе меняются с возрастом.

Письмо получается огромным, и я обрываю письмо.

Пишите, Надежда Яковлевна, не тревожьтесь, не принимайте близко к сердцу. Желаю вам доброго здоровья, желаю вам быть такой, какой вы были каждый день и час, когда я имел возможность видеть вас.

Наталья Владимировна говорит: «Литературный Рим передвигается из Тарусы в Верею». Вы одна из самых важных людей, восстанавливающих эту порванную связь времен. Привет вашему брату и его жене. Желаю ему доброго здоровья. Ваш В. Шаламов.



25 июля &lt;1965 г.&gt;

Дорогой Варлам Тихонович!

Мне тоже не хочется, чтобы оборвался разговор, и я пишу вам сразу по получении вашего письма. Ваше письмо, как всегда в район, шло 4 дня. Мне понравилось рассуждение о чувствах и о том, что злость (подлинная, т. е. молодящая) ближе всего к костям. Выпьем же за нетерпимость — она ведь и есть источник «молодящей злости», понятной только тем, кто знает, где стоит и почему стоит. Но боюсь, что мне так идти до самой могилы, не увидав издания ни в Ленинграде, ни в Воронеже. Меня это даже не огорчило. В сущности, меня взбесила только формулировка.

В Москву я приеду на один-два дня 12 августа. Не забудьте! Жду звонка и встречи. Очень буду рада, если вы приедете в Верею с Еленой Алексеевной и Наташей Рожанской. Она (Наташа) прелестный человек, но невыносимо скромна, до того скромна, что я даже сержусь, хотя это придает ей еще больше прелести. Живется ей трудно, а в ней есть какое-то очень высокое благородство, не позволяющее ей жить легче. Мне она на редкость мила и нужна.

(Елена Алексеевна мне тоже нравится, но я ее меньше знаю — только с отъезда Наташи нашей...)

Очень рада, что вы ей дали рассказы — она умный и внимательный читатель. По секрету скажу вам — только не говорите этого ей — она обидится и огорчится, — что она сильнее и глубже мужа. Но довольна о Наташе...

Теперь о стихах. Впрочем, сначала о рассказах. Разумеется, я их очень хочу. Пожалуйста, привезите, да еще лучше с оглавлением, чтобы я знала, где они стоят, если они уже нашли себе место. Хорошо, что вы изменили название сборника. «Уроки любви» не совсем то... «Левый берег» вполне «географическое».

Как я огорчаюсь, что книги стихов так легко лопаются и у вас освободилось название! Всегда и у всех... То есть те книги, которые я бы хотела держать в руках. Книга Б. Л.<sup>9</sup> вышла только благодаря тому же скандалу, который поставил ее под угрозу. Впрочем, у него судьба другая: к нему привыкли...

Я думаю, что учебники не надо сжигать: это слишком классический жест; потом авторы учебников выпустят новое издание и сожгут те книги, которые ценим мы с вами. Давайте просто ими не пользоваться...

Мальчик, который хвалил Хлебникова, самый молодой и незрелый из моих знакомых. Ему года 23—24... Они в этом возрасте сейчас чистые сопляки. Этот много читает и думает, а что из него выйдет, сказать трудно.

То, что вы пишете в письме о Кузмине, я принимаю полностью. Тогда мне показалось, что вы его отстаиваете, а не ругаете.

Анна Андреевна говорила еще про стихи, что в юности она никогда не думала, что они такие живучие. Но есть еще одна таинственная вещь, отменяющая тему возраста: поэт — тот, у которого стихи станут судьбой, — определяется смолоду, настоящие читатели тоже смолоду. Среди всех глупостей юности, среди ненужного чтения, ошибок, чуши и мути, увлечений и свойственной юности резкости отрицания пробивается вот эта самая ариаднина нить, на которой держится «связь времен». И О. М. и Б. Л. были собой уже с первой ноты. И все другие, включая Кузмина. Вероятно, стихи (подлинные) это «сущность» в самом философском смысле слова. И неудачи, а их в юности всегда много, и учебные стихи, а они есть у всех, все же имеют эту каплю «сущности» не только самого человека, но, вероятно, и «бытия», а дальше уже вопрос в том, какую долю «сущности» и «бытия» дано данному человеку выразить. А вот что такое пресловутая простота, которой в свое время щегольнул Б. Л., я не знаю. Мне кажется, что с этим понятием надо обращаться осторожнее. «Просто» то, к чему привыкли, что вошло в наше сознание. Поэзии же нужно время, чтобы она вошла в сознание, стала частью его. И в «простоте» ли дело? Не в нравственной ли идее, которую вы помните (не моральной, разумеется, а именно нравственной), не в высоком ли самоощущении и самоопределении человека как такового? Не в герценовской ли клятве, которую дает каждый поэт, хотя эта клятва может касаться самых разных сторон человеческой жизни? Не в связи ли времен — единственном, что делает



человеческое общество — обществом, а человека — человеком? Вот это, наверное, самое главное: для меня поэт — это человек. Я это как-то ужасно остро ощущаю, что он не что иное как человек, и если люди забывают, что они люди, то поэт им об этом напоминает. Поэт из романа<sup>10</sup> — индивидуалист, хоть ему и захотелось опроститься. Обыкновенный поэт до ужаса человек и всегда весь в своей обыкновенности, и судьба у него самая обыкновенная для своей эпохи. Разве не так?

Очень хочу вас видеть. Не забывайте меня.

Н. М.

Москва, 29 июля 1965 года

Дорогая Надежда Яковлевна! Продолжаю о поэте-человеке. Мысль вашу легко почувствовать. Поэт выражает век именно обыкновенностью своей судьбы. Это — не моя формула. Тут, мне кажется, дело не в обыкновенности, а в нравственной ответственности, которую принимает на себя поэт. Этой ответственности у обыкновенного человека нет, а для поэта она обязательна. Для России, для русской традиции во всяком случае. И это вовсе не некрасовская традиция, ибо и у Аполлона Григорьева этой ответственности не меньше. Или у А. К. Толстого, если брать имена, близкие по времени друг к другу...

Занятие искусством не облагораживает, к сожалению, — Гейне, Некрасов, Салтыков-Щедрин и тысячи не попавших в хрестоматии. Мне кажется, в поэзии все дело в «отдаче», в том, чтобы суметь подставить себя, предложить собственную кровь для жизни возникающего пейзажа. Если этот рубеж не взят, поэта не будет, будет только версификатор. Есть и еще занятное обстоятельство. В стихах последних лет у Пастернака с декларированной простотой уменьшается емкость строфы и строки стихотворения, и уменьшается заметно. Между тем емкость мандельштамовских стихов возрастает (например, «Андрею Белому», да и не только это). Пастернак пытался снять иносказания, сохранив только общую символику (евангельские стихи). «Камень» у Мандельштама, в сущности, самый простой сборник из всех собраний мандельштамовских стихов, с наименьшим показателем емкости. Я пользуюсь этим выражением, помня о том отвратительном значении, в котором емкость выступала у конструктивистов. Вот ведь было антипоэтическое течение. Там не было поэтов совсем, кроме Багрицкого, да и тот поэт ничтожный. Я перелистал первую его книжку — два стихотворения, не больше, но вы как-то говорили, что и два — хорошо.

31 июля <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Почерк у вас, действительно, трудный, но я его почему-то довольно легко разбираю, вероятно, по той же причине, почему вы меня так хорошо слышите. Иначе говоря, действует интуиция и догадка, которые помогают нам друг друга понимать.

Воронежское издательство продолжает настаивать на издании, но из этого ничего не выйдет. Отказ вполне зрелый и сознательный. Предлог (Ленинград) дурацкий. Кроме всего прочего в этом отказе еще работает здоровая инерция: тридцать лет обходились без «этого Мандельштама», а теперь, когда и так хлопот полон рот, лезут... Обойдутся и дальше. Я знаю, что О. М. когда-нибудь вернется в Москву и будет издан, и получит свое, но есть наивное нетерпение. И это глупо.

У меня появились какие-то шансы на работу на будущий учебный год, но я как-то об этом не думаю.

Приедете ли вы в Верею «на Елене Алексеевне»? Было бы славно. Здесь очень тихо, не то что в Тарусе, и для меня это хорошо. А вас всех очень бы хотелось видеть. Было бы чудесно.

Я буду 12-го... На два дня. Не забудьте позвонить...

Вы знаете, я никак не могла разобрать, какое стихотворение из христианских у Б. Л. вы считаете лучшим. Впрочем, я никогда не помню названий. А как начало или хотя бы строчку... Так я сразу вспомню.

Еще о «простоте».



Мне помешали писать: в тихой Верее тоже есть кучка людей, которые ходят друг к другу. Приходили не ко мне, а к моей невестке, но пришлось отложить письмо, и сейчас уже труднее ухватить мысль. Но вот о чем я хотела сказать по поводу вашего определения простоты. В самом начале нашей жизни — где-то около двадцатых годов и в самые первые года двадцатых — были люди, которые ненавидели прошлое (справедливо) и всю литературу мерили тем, как она борется за справедливость против тех исторических обид. Они принесли литературе (подлинной) много вреда: как им было понять Кузмина или Николая Степановича<sup>11</sup>, или О. М. и пр. и пр... Я настаиваю на том, что их счета с прошлым были справедливые. Теперь я часто думаю, что и мы, а я-то — наверное, становимся на них похожи. Мы хотим диктовать поэзии самые нормальные вещи — хотя бы человечность, ставим ей условия, объясняем ей ее «долги». Я так просто не могу взять в руки книгу, где бы не было того, что я считаю «правдой» и «добром». Но ведь они тогда свое тоже считали «правдой» и «добром». Мы, конечно, шире и умнее, и знаем, что такое эта самая поэзия. Но внутренний «заказ» в нас работает с огромной силой. И в своей правоте мы уверены: знаем, где наше «да» и где «нет». Но сходство с теми людьми того поколения меня не раз смущало. Можно ли «ей» ставить критерии? Не попадем ли и мы в то положение, что те? А вдруг мы не заметим какого-нибудь Вийона или, шут его знает, кого — Готье, Бодлера... Я беру не русских поэтов, потому что наши так вошли в нашу кровь, что на этих примерах не понять. И все они были в том ключе, который нам нужен. Но вдруг у нас появятся другие, без наших «да» и «нет» — что тогда? Это мысль, на которой я уже не раз себя ловила. Что же такое поэзия? И какую нотацию я бы прочла мальчишке Готье, если бы он ко мне сунулся! Помогите... Н. М.

<Август 1965 года>

Дорогая Надежда Яковлевна! Кошку мою Муху убили. Застрелили в голову. Открыто в московских джунглях застрелил какой-то генерал. На Западе там везде есть Общества покровительства животным, есть налоги какие-то, взамен которых государство охраняет животных, — у нас же только смерть и убийство считаются делом чести, славы. Массовое убийство кошек и людей — это одна из отличительных черт социализма, социалистической структуры.

Животные безусловно входят в мир людей, облагораживают этот мир и понимают гораздо больше, чем думали Павлов и Дуров. Животных делают из лучшего материала, чем человека, и они много вносят в нашу жизнь добра, неизмеримо больше душевного здоровья, чем пресловутый «зеленый друг». И ад животных — страшен. Я вчера добился, чтобы мне показали приемник бродячих собак, то есть «отловы» на московских улицах, которые делают ветеринарные инспекции. У меня пропала кошка Муха, по всему городу расклеены плакаты с призывами государства о помощи в убийстве кошек, — даже домашняя кошка Муха стала предметом борьбы в государстве. Даже здесь резко сталкиваются наши интересы, взгляды, поступки. Наш районный ветеринар сказал, что кошек убивают не сразу по завозе, убивают назавтра, «поезжайте на эту станцию, в эту газовую камеру московскую». Мне удалось добиться после долгих усилий и просьб войти в этот «карантин звериный». Лучше бы я туда не ходил: огромный каменный мешок, где внизу, на первом этаже, большие железные клетки с собаками, конусом стока для мочи в середине, а поверх железных клеток собачьих стоят железные ящики величиной с посылку, фруктовую посылку килограмм на восемь, решетчатые ящики, битком набитые кошками всех цветов и оттенков. Они уже помолились своему звериному богу и ждали смерти. Глаза у всех кошек, а я знаю кошачьи глаза очень хорошо, были безразличными, отсутствующими. Никакой человек уже не мог их спасти от смерти и от людей. Кошки уже ничего не ждали, кроме смерти.

Еще страшнее был ящик особый, куда были набросаны котята разного возраста, от только что родившихся до месячных котят.

Я ушел, поблагодарив начальство за человечность, за «человеческий» подход ко мне, а не к кошкам, ибо сначала мне не хотели ничего показывать — «нет, да и все». А потом удалось увидеть этот ад. У этих железных клеток есть под-



веска, чтобы прицепить этот контейнер к крючку газовой камеры. Я рылся в этих ящиках с полчаса, но не нашел Мухи; хотел указать на какую-нибудь кошку, чтобы выпустили из этого ада, но потом раздумал.

Самое страшное вот что. Я думал, когда шел по коридору, что в реве, крике, в вое и визге, которыми меня обязательно встретит этот зал, — последняя звериная надежда, случайность сказочная, что все душевные силы кошек и собак будут напряжены в этот последний миг последней надежды...

Звери встретили меня мертвым молчанием. Ни одного писка, ни лая, ни мяуканья.

5 августа <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович! Удивительно, что третий раз я слышу про специфических кошкодавов. Один живет в Тарусе в отставке, рядом с Оттенами<sup>12</sup>. Он поуничтожил многих котов на улице, а поймать его на этом не удалось. Среди них оттоновский любимец... Второй служил со мной в Чебоксарах в пединституте — начинал жизнь «с романтики»... Он повесил кота. Третий случай ваш. Видно, это действительно чем-то компенсирует их за невозможность (в данное время... надолго ли?) человекоубийства. И горе, когда погибает животное, я тоже понимаю. И омерзение от двуногих, уничтожающих невинного зверя. Но все же приезжайте на день в Верею и уговорите поехать Наталью Владимировну. Елена Алексеевна собирается приехать в воскресенье. Единственное, из-за чего стоило бы отложить на неделю (до следующего воскресенья), это из-за погоды. Но, кажется, она начинает улыбаться. Может, даже подсохнет.

С вашей оценкой поэзии советского периода я вполне согласна. Но сейчас я думаю не об этом, а о нас. И я вам писала именно о нас. Мы тоже оказались вроде «заказчиков» и чего-то ждем и требуем от поэзии: добра, совести, чести, правды... Мне даже кажется, что это все неразрывно. Во всяком случае, для больших поэтов. Человечности в самом точном смысле этого слова. Но может быть, говоря языком кретинско-философским, эстетические и этические ценности это нечто разное, и нельзя подходить к искусству с этическими мерками. Нечто вроде этого я однажды услышала от Анны Андреевны (только без кретинско-философской фразеологии). Она вспомнила, что их этим «добром» попрекали, когда они были молоды. И вспомнила не без обиды. Для О. М. это как-то не разделялось, потому что он ощущал себя последним христианским поэтом...

В начале нашего настоящего двадцатого века, т. е. в 17—22 годах, многие (Воронский, хотя бы) требовали возмещения в искусстве своих исторических обид. Этого же ищем и мы. Вы знаете, к каким результатам в искусстве привело это требование. Почему? Было ли само требование ложным — с искусства требовать нельзя — или не того требовали. Как это обосновать? Ведь я продолжаю думать, что искусство это и есть самое человеческое и должно (а может, оно ничего не должно?) служить человечному. Вот в чем моя проблема. А как быть с Анной Андреевной? Что-то она знает... Но может, до чего-то самого крупного не дотягивает. Во всяком случае, в теории. Подумаем? Надо...

Н. М.

17 августа <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я рада, что повидала вас, хоть мы и не успели перекинуться словом. Сейчас я не могу писать подробно, только напоминаю вам, чтобы вы поехали в Тарусу и не забыли по-настоящему зайти к Поле<sup>13</sup>. Она нам друг.

Не могу примириться со смертью Фриды<sup>14</sup>. Она все время со мной. Мне так много хочется ей сказать. Вот и она с вашим отцом.

Н. М. Не забывайте.

<август 1965 года>

Дорогая Надежда Яковлевна! О Фриде Абрамовне: не то что камень на сердце лежит, не только, тут боль как-то особенно лична и не годится для статистики



гражданских панихид. Я с Фридой Абрамовной встретился однажды у Е. С. Ласкиной и получил от нее два письма и рукопись ее «Заметок из блокнота депутата». Фрида Абрамовна первая сказала о моих рассказах важные для меня слова, где я увидел, что скрытая суть дела не прошла незамеченной. В тот вечер, когда мы с ней познакомились и говорили, я не знал всего разнообразия и постоянства доброй активной силы Фриды Абрамовны. Не знаю, сумел ли поблагодарить ее. Просто — не знал. Наталья Ивановна потом сказала мне кое-что, Евгения Самойловна многое — об огромной деятельности Фриды Абрамовны, ее большом месте в нашей общественной жизни, особенном месте. Фрида Абрамовна была человеком деяния, действия. Не сочувствия, а содействия. Пределы и возможности ее деятельности далеко выходили за границы обычного представления о таких вещах. Для Фриды Абрамовны первая фраза Евангелия от Иоанна переводилась, как в Фаусте: «В начале было дело».

Необычайно важно для писателя, поэта соответствие между словом и делом. Поступки должны соответствовать словам. Мне уже случалось обращать ваше внимание на коварность пушкинской формулы: «Слова поэта суть уже его дела». Тысячу раз нет. Дело поэта должно соответствовать, подтверждать его слово. Нравственные начала должны диктовать и слова, и дела. Требовать от писателя, чтобы он вел себя в соответствии со своим словом, — нужно. Вот этим редчайшим, драгоценным качеством Фрида Абрамовна обладала, как никто другой в наши дни. И — пусть это будет куском моего дневника — мне кажется, что Фриде Абрамовне было бесконечно стыдно за советскую власть — и она бросалась заделывать пробоины, латать, исправлять, добиваться отмены ложных и грубых решений.

Мне кажется, что героическое было именно в том, что, имея большие возможности, Фрида Абрамовна считала своим нравственным долгом пользоваться этими возможностями, не уклоняясь, не сомневаясь. Нравственная сторона дела здесь очень важна. Моральный уровень очень высок, очень. Я не знаю «Учителя», повести, над которой работала Фрида Абрамовна. Но «Блокнот депутата», запись дела Бродского — литературные документы большой силы, обличающие именно писателя, а не журналиста.

В деле Бродского Ф. В. выступила крупным планом, вечным защитником и смелым обвинителем всей тупости и черноты, которые несет наше время; эта запись, этот обвинительный документ — значительный писательский документ. Не менее язык и [нрзб] также обличают Ф. В. как писателя, а не как журналиста. Писатели — судьи времени, а журналисты — подручные. Это не только разные уровни мастерства, видения и так далее. Это — разные миры, как ни обманчива кажущаяся близость их друг от друга.

И здесь Фрида Абрамовна выказала себя не подручным, а строгим судьей. Вот о чем я думал на гражданской панихиде и на кладбище. Фрида Абрамовна была человеком непосредственной отдачи — чтение рассказа могло вызвать слезы. Е. М. Гольшева<sup>15</sup> сказала мне, что последней книгой, которую читала Фрида Абрамовна, были мои «Колымские рассказы»<sup>16</sup>. Рассказы мои вряд ли были полезным чтением для больной. Но мне хорошо думать о том, что сказала Е. М., — и чувствовать себя связанным с Фридой Абрамовной лично — и навеки.

2 сентября <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я еще не кричу «сентенция», но период зависти уже прошел. Что может быть общего между моими предполагаемыми Черемушками и Борисовым Переделкинном. К тому же я не пишу стихов, и нет рифмы у меня, чтобы обеспечить мне «талон на место у колонн». А еще Ося хорошо обеспечил меня от внешнего (вдовьего) успеха. Он заранее принял меры, чтобы ни «вечеров памяти», ни знаменательных дат у него не было. Вы напрасно поэтому беспокоились, что мне бросится молоко в голову, и я зашуршу вдовьими ризами. Единственное, что я знаю, это — что стишки хороши. Но когда их хвалят потусторонние хвалители, я заболеваю от их глупости. А. А. не выдержала старости, а не славы, и при этом стишки писала она.



Рассказ<sup>17</sup> по каждой детали, по каждому слову — поразительный. Это точность, в миллион раз более точная, чем любая математическая формула. Точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов, которая звучит во славу жизни. Ваш труд углубляется и уходит с поверхности жизни в самые ее глубины. Передайте Эмме Герштейн, если вы ее увидите, что вы только подошли к теме<sup>18</sup>: оглядев наружные слои, вы пошли вглубь — в сущность жизни, которую нельзя убить.

В этом рассказе присутствует более, чем где-либо, ваш отец, потому что все — сила и правда — должно быть от него, от детства, от дома.

Дураки Оттены что-то пищали, когда мы у них были, что ко мне ходят «поклонники». А я подумала, что и перед вами, и перед Володей Вейсбергом<sup>19</sup>, с которыми я пришла к ним, я всегда буду стоять на задних лапах, потому что вы оба — он в живописи, а вы в слове и мысли — достигли тех глубин, куда я могу проникнуть только вслед за вами, когда вы лучиком освещаете мне путь.

Я горжусь всем, что вы делаете, особенно последними рассказами, особенно тем, который я уже почти знаю наизусть.

Сентенция!

Н. Мандельштам.

1) По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. Читая в первый раз, я так следила за фактами, что не в достаточной мере оценила глубочайшую внутреннюю музыку целого. А может, и вообще лучшая проза двадцатого века.

2) «Дело юристов» я как будто читала более детальный вариант, и он был сильнее<sup>20</sup>.

3) Есть два-три рассказа, которые не доведены до полной силы: вышивальщица<sup>21</sup>, например. Есть небрежности.

4) «Целое» книги не готово — надо убрать повторы (стланик, «человек сильнее лошади» и др.), сохранив в обоих рассказах самую тему, но дав ей чуть разное развитие (чтобы сделать не повтором, а двойным, как в сонате, развитием)<sup>22</sup>.

5) Среди удивительного блеска отступлений есть одно, нуждающееся в легком развитии: это о современной прозе. Оно бьет в точку. В самую точку.

<Где> конец «Тифозного карантина»<sup>23</sup>?

<сентябрь 1965 г.>

Дорогая Надежда Яковлевна, я прошу прощения за то, что столь не осторожно коснулся Черемушек. Для меня это чуть ли не главный вопрос жизни, принципиальности неизмеримой.

Когда-то Пастернак просто ошеломил меня, когда вдруг оказалось, что такое хорошее и согласное вдруг обернулось малодушием, трусостью, недостаточностью не только поэта... Вдруг все было передано в руки какой-то <...> Ивинской<sup>24</sup> (при ее личном праве и правоте). Это одна из больших моих нравственных травм, потому что не мне повезло при встрече с Пастернаком, а Пастернаку при встрече со мной, только он этого не понял, опять-таки по малодушию, по суетности своей. Этот вопрос до такой степени для меня важен и болезнен. Наше знакомство прервалось при обстоятельствах, не делающих чести Пастернаку. Его звонки на Хорошевское шоссе ничего не могли изменить. Пастернак предлагал мне повидаться у Ивинской. Я отказывался это сделать. Я не разделял и не одобрял его «опрощения», не считал, что проза «Доктора Живаго» — лучшая его проза.

В собственной семье Пастернак был в плену, и я когда-нибудь напишу об этом. <...> Я не виню Ивинскую. Пастернак был ее ставкой, и она ставку использовала, как могла. <...> Но то, что было естественно для Ивинской, было оскорбительно для Пастернака, если он хотел считаться поэтом, желая все сохранить: и вкусные обеды Зинаиды Николаевны, и расположение Ивинской, не понимая, что этот физиологический феномен давно отнесен Мечниковым в «Этюдах о природе человека» к одной из закономерностей для людей искусства.

Для Ивинской написаны, говорят, хорошие стихи, говорят так люди, не понимающие природы творчества. Стихи все равно были бы написаны, даже если



бы Ивинская и Зинаида Николаевна поменялись бы местами. Вот это и есть Переделкино в Борисово, о котором я еще напишу.

Те приступы одиночества, которые правильнее было бы называть не приступами, а просветами, — многократно подтверждены письмами Пастернака 1954—56-х годов. Работа над романом, «опрощение» — все это встречает полное непонимание и в семье, и в квартире Ивинской.

Это очень тонкая механика, очень. Вы — знаете настоящее, подлинное.

Дорогая Надежда Яковлевна, я не имею ни малейшего сомнения в вашей воле, в вашей ясности ума, в вашем сердце, в вашем душевном опыте. Я прошу прощения за то, что столь неосторожно, вслух тронул этот больной для нас обоих вопрос. Я благодарю вас за письмо от всей души, я горжусь вашей сердечностью, вашим вниманием. Вы — высший суд для меня.

Но не только высший суд, но и пример. Не повторяйте, что это — Осип Эмильевич, его уроки. Все это верно, но что бы ни говорилось — не это главное в вас.

6 сентября <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

С глубоким смущением прочла вашу телеграмму — вот вы перехвалите меня, и я в самом деле вообразу себя в Переделкине... Разве можно! Но все же — спасибо...

Скоро уж я приеду, и писать поэтому уже не хочется. За мной придет Ника<sup>25</sup> в воскресенье 12-го, так что днем или вечером в воскресенье я уже буду в Москве. Надеюсь, что Наташа уже придет — скажите ей... Очень уж хочется ее видеть.

И я рада вернуться в Москву. Когда мы увидимся? Может, в это самое воскресенье вы и Наташа объявитесь? А то понедельник плохое число — тринадцатое...

Н. М.

<1965 г.>

Дорогая Надежда Яковлевна, я еще не заходил к Василисе Георгиевне<sup>26</sup>, чтобы сказать ей, что в течение всей моей жизни я не был в квартире, где бы мне дышалось так легко и свободно, как в квартире 47 по Лаврушинскому переулку. Тысяча пустяков отвлекала, но я эти пустяки отброшу, отмету и завтра буду у Василисы Георгиевны.

Дай Бог вам счастья в Черемушках. Для всех, для всех людей вы должны остаться излучающей свет, залогом и знаком непримиримости. Ничего не должно быть забыто, ничего не должно быть пропущено. Какие бы маски на Вас ни надевали, какие бы огни ни зажигали над вашей головой.

Наталья Ивановна рассказала мне, как на Анне Андреевне во время одного из «приемов» лопнуло старое черное платье, расползлось от ветхости, и как Наталья Ивановна зашивала на живую нитку это платье на Анне Андреевне. Наталья Ивановна говорит, что она тогда почувствовала и поняла, что случившееся не только не может быть ущербом гордости, спокойствия, достоинства. Это старое лопнувшее платье Анны Андреевны во много раз дороже Оксфордской мантии и важнее людям.

У Ники Николаевны был вчера и постарался исправить впечатление от понедельника, которое могло получиться.

В Черемушках будет у вас чудесная соседка Наталья Владимировна, человек, которому вы бесконечно важны, по ее словам. Ваш В. Шаламов.

Вторник 29 июня <1966 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Вчера я приехала. Не предупредила вас, потому что вернулась «вне плана» — за несколько дней до срока, чтобы застать в Москве Анну Андреевну. Это избавило меня от поездки в Ленинград.



Вечером и сегодня, и завтра я, по всей вероятности, буду дома. Сейчас все зависит от Анны... Может, пойдем вместе к ней? Если вы зайдете ко мне в среду к 12-и, думаю, можно будет тут же поехать к Аняте. Как? Или в четверг в то же время, хотя есть риск, что она уедет.

Потом уеду на несколько дней в Тарусу. К 6 июля буду в Москве.

Н. М.

19 августа <1966 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я хочу (и мне надо) вернуться в Москву в самом конце августа. Меня беспокоит, как я достану машину. Что-то обещает Вика<sup>27</sup>, но, к сожалению, дружественное, а не за деньги, а это всегда может сорваться. Если б не это, я бы твердо сказала, что буду 28—30 августа уже дома.

Н. М.

Москва. 21 августа 1966 года

Дорогая Надежда Яковлевна, вот и пришло ваше письмо быстрее городского — чуть больше суток шло. Значит, недолго вас ждать.

Нынешнее лето было у меня в рабочем смысле не очень удачным — много недописанного, не начатого, не тронутого из того, что и ждать не может. Но зато лето это было для меня очень важным в каком-то особенном личном смысле — и сознание этого странным образом не то что примиряет, а сближает меня с жизнью — в возможных пределах, в режимах, в границах примирения, сближения. Впрочем, речь идет не о примирении, а о сближении, пересечении каких-то важных путей, дорог.

Я перечел только что «Хранителя древностей» Домбровского. Это хорошая книжка. Формула жизни состоит из хороших людей и директора, призывающего к расстрелам, — хорошо, и бригадир хорош, и даже люди зла, люди ада не так уж страшны — о расстрелах, о людской крови говорится скороговоркой, что правильно — будто герои знать об этом не хотят, затыкают уши и глаза, так и было, наверное.

В каком-то особенно личном смысле лето принесло мне спокойствие, не примирение, а сближение — пересечение путей и дорог. Сердечный привет Е. М. и Е. Я.<sup>28</sup>. Ваш В. Шаламов.

28 августа <1966 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я приезжаю 29-го или 30-го, еще не знаю точно. Приезжаю совсем.

Н. М.

5 февраля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Последнее время я в таком мерзком состоянии, что не писала вам, но все время слышала о вас и о ходе вашей болезни. Надеюсь, что вам сейчас лучше; может, вы скоро начнете выходить. Известите о себе.

Сердечный привет от меня Ольге Сергеевне<sup>29</sup>.

Н. М.

Мне ставят телефон: я смогу по нему звонить, а ко мне нет. Это называется однобокая (или что-то в этом роде) связь.

7 февраля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Вы, наверное, удивляетесь, почему я молчу и растворяюсь где-то в воздухе. Причин много. Главное — дикое состояние, когда я готова каждую минуту разбить себе голову. Тут ничего не поделаешь. Причин «больше, чем одна» (это буквальный перевод).



Работаю. Зверюю. Не знаю, как быть дальше. Надеюсь, что вы скоро задвигаетесь, и мы посидим с вами на кухне.

Н. М.

Привет Ольге Сергеевне.

26 июня <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я вчера попросила вас прийти в четверг, забыв, что в этот день я занята. Переложим, если вам удобно, на пятницу (или субботу). Напишите, когда вы будете.

Н. Мандельштам.

Я вам звонила, но напрасно.

18 июля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

<...> Харджиев<sup>30</sup> еле смотрит на меня — оскорблен. Он облагодетельствовал Мандельштама, а я посмела отобрать у него рукописи... Мерзость. Слава Богу, основные рукописи у меня, хотя многого он не вернул. Саша Морозов<sup>31</sup> устраивает мне сцены — неизвестно, на каком основании. Это наследники при моей жизни начинают скандалить. Что же будет после моей смерти? В моем случае речь идет не о деньгах, а о праве распоряжаться. Я нашла ответ. Я готовлю собрание и зову себе на помощь, кого хочу. Если не нравится — пошли вон. Так?

Целую вас Надежда М.

26 июля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я скоро (в конце недели) на несколько дней (3—4 дня) приеду в Москву. Чего-то я затрепалась и чересчур задумалась... <...>

Целую вас  
Н. М.

<1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Вот я снова в Верее. И здесь мне кажется шумно. Сегодня села работать. Приходила ко мне Эмма Герштейн — здесь живет ее сестра, и она на денек к ней приехала. <...>

Я читаю «Проблему стихотворного языка» Тынянова. Это в общем мало-значительно. Просто начитанный мальчик, узнавший, что такое фонетика. Но я пока только начала читать.

Поездка поезд плюс автобус довольно тяжелая, но легче прямого автобуса из Москвы. Я думаю, что больше в августе не приеду, а вернусь в начале сентября.

Не забывайте  
Надежда Мандельштам.

3 августа.

6 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Получила ваше письмо со страницами из журнала. Спасибо. Здорово!

Я опять подыхаю от жары.

Работать почти не удастся. Но остался еще один месяц — и я опять буду дома...

Как идет жизнь? Одно дошло до меня: обидевшись на второй том, опять откладывают издание сборника стихов.

Саша, кажется, бузит, и мне это надоело. Вообще хочется в Москву, но там я — увы! — не могла дышать.

Вроде все... Не забывайте.

Н. Мандельштам.



7 августа 1967 года

Дорогая Надежда Яковлевна, телепатическим образом позавчера в пять часов пополудни я взял с книжной полки тыняновскую «Проблему стихотворного языка» и проглядел эту книжку — оказывается, только для того, чтобы получить ваше письмо и смело на него отвечать, смело в смысле быстро. Конечно, молодая работа молодого Тынянова не Бог весть что, но в ней есть свежесть, есть чувство новизны — больше там, где Тынянов погружается в «архаику», и меньше, когда встречается с современностью, с Блоком, с Хлебниковым, с Брюсовым. В тыняновском подходе, в опоязовском подходе для анализа все годится, все смешано, все равноправно: и Брюсов, и Блок, и Хлебников. Живая жизнь стиха, его душа не попадет в эти сети, в эти меридианы и параллели, наскоро очертившие и запутавшие глобус, великий шар поэзии. Для опоязовцев Земля — это глобус, не более. Статьи (вторая половина книги) поплоче, похуже «Проблемы». В «Проблеме» радостно открываются на берегах поэтической реки новые выступы, мысы, заливы — это плаванье, но это плаванье по мелководью. Новых горных вершин тут не видать — тыняновская лодка пущена по мелководью, по побережью. Это дачное плаванье. Не поток открытий и смутных определений, связанных с быстротой, новизной, неожиданностью, мощью потока. Великое достоинство тыняновских работ, а равно и всех авторов сборников ОПОЯЗа — это приближение читателя к вопросам истинной поэзии. Если хотите понять, что такое стихи, то надо читать работы ОПОЯЗа. Здесь не узнаешь секрета поэзии, чуда поэзии, возникновения, рождения. Но это — наилучшее, чуть не единственное на русском языке описание условий, в которых возникают стихи. И цепляясь за тыняновские фразы, за опоязовские фразы, вдруг находишь путь к настоящему. И хоть это настоящее не похоже на опоязовские рецепты — родилось это благодаря сосредоточению внимания на проблемах, обсуждавшихся в сборниках ОПОЯЗа.

Вот очень кратко о чтении. Я передал вчера Лотману книжку, которую вы мне дали<sup>32</sup>, восхищение и благодарность он пришлет вам и сам, кроме тех, что в этом письме. Сережа и Ольга Сергеевна благодарят вас. Демидову и Лесняку<sup>33</sup> я отослал почтой. Конец августа это недолго, но все же. Пишите.

В. Шаламов.

9 августа &lt;1967 г.&gt;

Дорогой Варлам Тихонович!

Сегодня получила от вас письмо с апологией ОПОЯЗа и Тынянова. Это так и не так. Эти люди действительно задумались о поэзии, но все же они всерьез принимали Тихонова. Их методами можно объяснить только искусственно сделанную поэзию или шуточные стихи. Видимо, поэтика может существовать только в ограниченных рамках (ритмы, традиционные формы, исследования стиля эпохи или одного человека). Из всего этого поэзия не выводима. И не понять ее и из истории. Я недавно прочла у Трубецкого: из исторических условий гений не выводим, но его не понять без исторических условий. Во всех попытках подойти к поэзии хуже всего попытка наукообразного построения. Я читала, как Бердяев защищает философию от научных методов. Тем более поэтику... Научное исследование снимает только самый поверхностный слой.

Хорошая вещь — история, биография, описание пути... Общая характеристика... История литературных школ... Анализ ритма, словаря... Но лучше всего самая обыкновенная публицистика. Это утраченная, но необыкновенно важная вещь.

Еще смысловой и мировоззренческий анализ, то есть раскрытие мира поэта (или школы, или эпохи). Возможен психологический анализ. Но наивно искать «общие законы». Все попытки взять слово и построить на нем анализ проваливаются. Это, кажется, одна из тайн поэзии, и здесь разобьешь нос. Для языковеда ясна слабость Тынянова (хотя бы жалкий пример со словом «человек»...) Бог с ним. Меня не выпустят до 10—15 сентября. Разве что приедет Оля<sup>34</sup> или Кларенс<sup>35</sup>. Дай-то Бог. Целую вас.

Надежда Мандельштам.



17 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Получила ваше письмо... Про Тынянова вы правы — лучше никого не было. Это значит — «по вашим грехам и то хорошо»... Так Анна Андреевна цитировала своего отца.

Подумайте, сколько мне еще оставаться здесь! Три недели! Надоело и хочется в Москву.

Меня ужасно беспокоит Илья Григорьевич<sup>36</sup>. Как он? Напишите, что знаете.

Понемногу работаю (текстология). Трудно и невыносимо грустно. Грустно от разного.

Как ваше здоровье? Судя по тону письма, не очень хорошо. Как вы живете? Один ли еще? Или Ольга Сергеевна вернулась? Передайте ей от меня привет.

Не забывайте меня,

Н. Мандельштам.

Лотман, наверное, затаил на меня обиду. Я ему когда-то написала, что Надежда Павлович<sup>37</sup> это Елизавета Смердящая (она Елизавета?).

27 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Все письма ваши я получила.

За пребывание в Верее я сильно обиделась. Что делать? Сейчас я уже скоро возвращаюсь (от 4-ого до 6-ого — когда будет машина). Вот наговоримся.

Н. Мандельштам.

1 сентября <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Зря вы жалуетесь, что я не пишу. Я все время пишу, но только не письма, а записочки. Это вас и запутало.

Я скоро возвращаюсь. Честно говоря, жажду скорее. Вероятно, 6 сентября. Сейчас же позвоню вам.

Получила милое письмо от Ольги Сергеевны и Сережи<sup>38</sup>. Отвечаю ей...

Н. М.

6 сентября <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Дозвониться к вам я не могу.

Приехали мы раньше, чтобы быть на похоронах<sup>39</sup>.

Что если вы придете в субботу?

Н. М.

Июль, 21 <1968г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Ваше письмо получила. Спасибо. Еще написал мне Сучков<sup>40</sup>, что хочет лепить О. Э. ...Я ответила вежливой отпиской, помня, что вы за что-то его не одобряете. В чем же, собственно, дело?

Я буду в Москве с 31-ого по 2-ое... Позвоню вам, чтобы вы пришли. Хорошо? Работать не могу. Привыкла быть одной; не умею работать, когда не одна. Скучаю. Целую вас.

Н. Мандельштам.

21 июля 1968 года

Дорогая Надежда Яковлевна, если Сучков действительно хочет лепить Мандельштама, пусть лепит. Талант у Сучкова невелик. Мне он просто когда-то обещал с три короба и ничего не сделал, морочил голову года три. Так не только Сучков из моих московских знакомых сделал и делает. В такой же породе — я обиды на него не держу.

Сучков не шпион, не доносчик, не бахвал, что немало. Через него я получил Платонова «Котлован». Последний раз видел года два назад. Подробнее — лучше при личной встрече.



Позвоните, и я приду в любой день, час. Если можно, в это время не приглашайте одиноких дам, кроме, разумеется, Натальи Ивановны Столяровой. Привет. В. Шаламов.

\* \* \*

#### ИЗ ПИСЬМА К НАТАЛЬЕ ИВАНОВНЕ СТОЛЯРОВОЙ. 1965 год<sup>41</sup>.

Рукопись эта<sup>42</sup>, как всякое важное, значительное литературное произведение, затрагивает области мысли, ума, жизни самые разные.

Есть общий вывод (связанный и с личным знакомством, впечатлением от личной встречи с Надеждой Яковлевной), который хочется высказать раньше, чем любые суждения о рукописи. Вывод этот вот такой. В историю русской интеллигенции, русской литературы, русской общественной жизни входит новый большой человек. Суть оказалась не в том, что это вдова Мандельштама, свято хранившая, доносившая к нам заветы поэта, его затаенные думы, рассказавшая нам горькую правду о его страшной судьбе. Нет, главное не в этом и даже совсем не в этом, хотя и эти задачи выполнены, конечно. В историю нашей общности входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности. И я думаю, что не в Осипе Эмильевиче черпал автор этой рукописи нравственные силы, а в самой себе — Надежда Яковлевна поддерживала Осипа Мандельштама десятилетиями и героически с той же твердостью прожила 27 лет после смерти поэта, не изменив памяти его. Не изменив себе. Суть даже в том, что не памяти Осипа Мандельштама она бы изменила, а изменила бы самой себе, своей великой душе, закаленной и испытанной.

Большинство людей нуждается в поощрениях, хоть маленьких, повседневных радостях. Большие характеры закаляются невзгодами. Вот такой большой характер и вступает в нашу литературную жизнь как пример подражания, как требование совести, как судья времени.

Вот главный вывод, главная радость.

В литературу русскую рукопись Надежды Яковлевны вступает как оригинальное, свежее произведение. Расположение глав необычайно удачное. Хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, — в которых нет ни тени личной обиды. Вся рукопись, вся концепция рукописи выше личных обид и, стало быть, значительней, важнее. Полемические выпады сменяются характеристиками времени, а целый ряд глав по психологии творчества представляет исключительный интерес по своей оригинальности, где пойманы, наблюдаются, оценены тончайшие оттенки работы над стихом. Высшее чудо на свете — чудо рождения стихотворения — прослежено здесь удивительным образом. Тем более рельефно все это выглядит, что это изучение поэтической работы стало возможным поневоле — трагическая бесквартирность стоит за каждым наблюдением, и рассказано об этом так, что хватает за душу. Вполне профессиональный разговор ведется так, что слезы подступают к горлу. Поблагодарите автора, Наталья Ивановна, за это главное особо.

Вернемся к рукописи. Что главное здесь, по моему мнению? Это — судьба русской интеллигенции. Надежда Яковлевна не прошла мимо омерзительного выпада Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях». Пошлость была спущена с цепи, чтобы оплевать самое ценное в русском обществе; интеллигенция не умрет, как не умрет жизнь, как не умрет искусство. Искусство, мысль, талант бессмертны. Убить всех нельзя. Трагедия русской интеллигенции показана Надеждой Яковлевной рельефно и точно. Да, так в 20-ые годы начинался, примерно, террор, а моральное растрепление было внесено еще раньше. Лучшие нравственные силы России, ее лучшие люди гибли поколением за поколением. Но как ни убивают, убить всех нельзя.

В высшей степени впечатляющие картины растрепления общества — шпионо-



мания, которая пронизывает книгу, все ее 500 страниц. И это верно, Наталья Ивановна. Так все это и было. Здесь нет никакого преувеличения. Доносы, рожденные страхом, стремление по каждому поводу требовать разрешения свыше...

В рукописи много выразительных характеристик, вроде суждения «я пролежала всю мою жизнь».

Рукопись эта — славословие религии, единственной религии, которую исповедует автор, — религии поэзии, религии искусства. Поэтическое начало в высшей степени обуславливает здесь эстетическое, хотя, разумеется, корни — в этике заветов 19-го века. Это славословие религии достигается без всякой мистики, что особенно приятно и удивительно.

Я — человек, не имеющий религиозного чувства, хотя и признающий его полезность в смысле общественной и личной морали.

Рукопись лишена всякой условной опоры, она твердо стоит на земле. Это от акмеизма, наверное; мистической акции символистов акмеисты дали решительный бой. И Анна Андреевна, и Надежда Яковлевна несут свою земную веру через всю жизнь, многие десятилетия.

В рукописи нет лишних слов, все сказано экономно и дельно. А в тех словах, где автор говорит о самом для себя дорогом, самом заветном, слышен и еще один человеческий голос. И я узнаю этот голос и радуюсь.

Я очень хорошо представляю себе и Чердынь, и Воронеж — и вижу все костры, где жила Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич. Героическая роль Надежды Яковлевны в этих сражениях с жизнью мне ясна. Есть мнение, что, близко соприкасаясь с живой жизнью, с бытом, Осип Мандельштам вел с ним борьбу с помощью книжного щита, щита, а не меча. Это не книжный щит, а щит культуры, да и не щит, а меч. И это показано в рукописи Н. Я.

Решение того же вопроса для меня было в другом ключе. В моем мире тогдашнем не было места для книги. Я в деятельности своей стремился превзойти любых профессионалов. В моей личной борьбе с блатными, где я блокировался с врачами, не было места стихам как жизненной силе, а была обыкновенная кровь, обыкновенная грязь. Но... стихи не бросили меня. Какого-то рода <способ> выгородить себе место для любимого труда, а не встречи с жизнью «в лоб»...

В рукописи есть отличное место (отличных мест там тысячи), где <говорится, что> все, и литераторы <в том числе> считали Мандельштама стариком. А ему было 30 лет. Я кое-как передвигал ноги по колымской земле, не имея сил перешагнуть ничтожный бугорок какой-нибудь, и все кричали — «эй, старик», а мне было 30 лет.

Слуцкий, что ли, говорил, что Мандельштам недостаточно отделял свои стихи. Это — чепуха. Находку, прощупывание нового пути пытаются объявить неотделанностью, незаконченностью. Чепуха это все. И семистрочные, и тринадцатистрочные стихотворения — все это — из расширения границ классического стиха, не недоделки второпях. Очень хорошо, что Надежда Яковлевна положила конец спекуляции по этому поводу. Циклы, равно как и двойчатки, — явление одного порядка и бывают всегда. «Тетради», мне кажется, встречались. Не уверен. Во всяком случае, все, что изложено по поводу «Тетрадей», «Книг», «Циклов», может составить блестящее открытие нашей поэтики вообще, а не только поэтики Мандельштама или Ахматовой, или акмеистов.

Огромную роль в жизни и душевной крепости автора сыграла Анна Андреевна Ахматова, но и роль Надежды Яковлевны в жизни Ахматовой, конечно, очень велика, да еще в самом мужественном, в самом достойном плане.

О двойной жизни, об «Оде»<sup>43</sup>. Я никого не осуждаю, хотя сам не делал даже попытки выжать из себя такого рода стихи. Поэтическое крушение Мандельштама с «Одой», убедившее поэта, что лгать он не может и не будет, и постоянные сожаления Пастернака по поводу «Живет не человек — деянье» мне хорошо известны. О «Двенадцати» Блок сожалел тоже. Тут природа поэта, импульсивность поэта виновата. И кто бросит камень?

Мандельштам писал стихи, оскорбившие палаческий слух, и был уничтожен. Пастернак написал оду и остался жив. Литературный разговор наказывался смертью, смертью.



Счастье Мандельштама, что он не доехал до Колымы, что он умер во время тифозного карантина. Осип Эмильевич избежал самого страшного, самого унижительного. Если бы мне пришлось повторить свою жизнь — а я <испытываю> большую радость после возвращения и встреч сейчас, — вспоминая все, что мне пришлось перенести, я покончил бы с собой где-нибудь в пароходном трюме, еще не приехав в Магадан.

Все, что видел и пережил Осип Эмильевич, — страшно. Но то, что ждало его впереди, — неизмеримо страшнее. Колымские золотые прииски...

Оставим эту грустную тему.

О фольклоре суждения Надежды Яковлевны, мне кажется, верны. Без фольклора не может существовать поэт. Разумеется, дело не в светлой легенде об Ари-не Родионовне, и няни, и просвири — все это чушь, чепуха. Но роль фольклора в системе образов поэта обязательна. И у Пастернака это есть.

Вам тоже пора занять место, которое принадлежит вам по праву, по праву рождения и по праву судьбы. Немногим удалось выйти из этого ада, сохранив живую душу, темперамент и силу ее. Ад за нашими плечами — это и преимущество наше — в суждениях, в оценках, в нравственных требованиях.

Велико напряжение Надежды Яковлевны в ее многолетней борьбе со стукачами, но велика и сила сопротивления.

Есть в рукописи и недостаток, несколько ослабляющий этот обвинительный акт. Выразительны портреты всех людей, которые встречаются на страницах рукописи, но маловыразительны люди из народа. Самый тон рассказа о них несколько книжен, традиционен и больше склоняется к картинам прошлого столетия. Впрочем, я в полном согласии с Надеждой Яковлевной считаю 19 век — золотым веком человечества.

Хорошо, что Осип Эмильевич не любил слова «творчество». В 20-х годах этого слова не было во всеобщем обиходе. Приехав через 20 лет в Москву (1937—1956), я удивился улучшению газетного языка — газеты стали грамотнее, язык культурнее — и резкому ухудшению языка романов и повестей. За это время слово «творчество» перешло на страницы спортивных газет, и чуть не в каждом номере «Советского спорта» можно прочесть: «автор гола», «творец голевой ситуации». Или «творчество авторов завода «Шарикоподшипник» и так далее.

Труд поэта, работа поэта, но не творчество.

Жизнь Надежды Яковлевны, Осипа Эмильевича исключала возможность дневников. Вот стихи Осипа Эмильевича по обстоятельствам жизни и были особенными дневниками.

Очень хорошо о жене Пастернака. Пастернак прожил свою жизнь в плену. В семье слушали его плохо, относились к нему, как к юродивому, окружали людьми, которых Пастернак не любил, а там, где ему было легче, там он был во власти всевозможных спекулятивных требований, которые он, унижая себя, выполнял. О разговоре Пастернака со Сталиным я немного слышал от него самого (то есть не от Сталина, а от самого Пастернака). Передает этот разговор Надежда Яковлевна верно, только не было фразы: «Хочу говорить о жизни и смерти», — просто Пастернак заволновался, загудел, и «там» положили телефонную трубку на рычаг.

В застольных тостах годами Пастернак пил за здоровье Ахматовой, Анна Андреевна, наверное, все это знает и сама.

Обжигающие строчки о том, как Горький вычеркивал из списка брюки для Мандельштама, оставляя только свитер, потрясающая подробность. Хотим ли мы разобраться в нашей жизни, Наталья Ивановна? Столь же выразительна пенсия по старости, которую получала Ахматова.

Откуда идут все эти заморочивающие голову разговоры о форме и содержании? Откуда пошла сия напасть? От Белинского? Но в русской литературе есть традиция, отрицающая Белинского: Гоголь, Достоевский, Аполлон Григорьев, Блок, Пастернак.

С удовольствием узнал, что Мандельштам жил без часов и в карты не играл.

Возможна ли работа в полной изоляции? И какие должны быть нравственные силы у автора — главное! — у его подруги?



О Нарбуте. Пусть Надежда Яковлевна исправит это место. Дело в том, что ужасная и «унизительная» должность ассенизатора, которую на пересылке занимал Нарбут, это сказочно выгодная должность, добиться которой очень трудно, почти невозможно. Связана с большими, очень большими деньгами. И вот почему. За проволоку, за зону пересылки из тысяч, десятков тысяч людей выезжает с ассенизационной бочкой с территории пересылки один человек. Его подкупают, чтобы провезти корку хлеба, а бочка — удобное место для всякого рода контрабанды.

Все это у меня рассказано в «Тифозном карантине». Там был директор уральский Тимофеев, тот голодал, продавал пайку, обменивал какой-то заграничный чемодан, чтобы дать что-то в качестве подарка нарядчику, получить эту благословенную должность, и, конечно, через неделю работы был сыт и купался в деньгах. Нарбут же, человек энергичный, да вдобавок еще и однорукий, мог спекулировать на инвалидности своей, чтобы должность ассенизатора получить. В лагере эти масштабы смещены, все выглядит по-другому, чем в обыкновенном мире. Я Нарбута знал в 30-е годы, когда он вернулся из первой ссылки (по делам «научной поэзии» я с ним встречался). Нарбут был энергичен, деловит и вполне мог работать ассенизатором на лагерной пересылке.

Очень правильное заключение, что и возвращенная посылка не может служить доказательством смерти. Такие кровавые шутки были наркомвнудельской поэзией, развлечением лагерного, да и не только лагерного начальства. Многочисленность подобных случаев говорит, что здесь дело шло об инструкции, ибо «волос не слетит с головы» и т. д. Пример: моя жена в 1938 году на свой запрос о моем местонахождении получила ответ формальный, что я умер, и эта бумажка хранилась, а, может быть, цела и сейчас. Полученные от меня письма едва убедили жену в том, что извещение только «шутка».

В рассказе «Апостол Павел» говорится еще об одном известном мне подобном случае. Очень тонкое и верное замечание, что для статистики оказалось удобным смешать вместе смерти в лагере и смерти на войне, лагерных было гораздо больше.

О Ромене Роллане-«гуманисте» — жму руку Надежды Яковлевны. О Маршаке — также. Маршак живет в моем представлении со знаком минус самым решительным.

О нищенстве, о всем этом так строго и так трагично.

О библиотеке поэта, где печатается все, кроме того, что нужно и молодым поэтам, и историкам литературы. Издание это — выветрившееся, его нужно начинать снова. Издание это разорвало преемственность русской лирики, закрыло молодым дорогу к Белому, Блоку, Мандельштаму, Кузмину, Цветаевой, Ахматовой, Пастернаку, Анненскому, Клюеву, Есенину, Бальмонту, Северянину, Гумилеву, Волошину, Хлебникову, Павлу Васильеву. Я ведь, Наталья Ивановна, по простоте душевной считаю, что стихи Анны Андреевны занимают гораздо более важное место в русской поэзии, чем стихи Гумилева — поэта Брюсовской школы, испорченного Брюсовым. Сюда же можно включить и Маяковского. Маяковский поэт не маленький. Он — нечто вроде Василия Каменского, только тот больший новатор. Надежда Яковлевна, я знаю, не любит этого деления на «ранги». Но это не деление на «ранги», а защита души от авторов второго сорта. Может быть, действительно, нет поэтов, как говорила Цветаева, а есть только один Великий поэт<sup>44</sup>. Может быть, и так.

Цитирование Бердяева выглядит чуть-чуть инородным телом в рукописи, не правда ли?

Рукопись эта — психологический документ первого сорта, та внутренняя свобода, с которой Надежда Яковлевна прожила свою большую жизнь, то чувство правоты, которое пронизывает каждую главу, очень впечатляет.

Правильно, что поэты не могут быть равнодушными к добру и злу (природа тоже, открою вам по секрету).

Но ты, художник, твердо веруй  
В начала и концы. Ты знай,  
Где стерегут нас ад и рай.<sup>45</sup>



Мандельштам и Данте — очень хорошая глава. Разумеется, все сказанное, написанное не исчерпывает и тысячной доли достоинств рукописи. Я для себя, взрослый уже человек, и думаю об этом много, нашел много важного, нового, убедительного или с неожиданной силой подтверждающего наблюдения, которые до этого находились в тени и сейчас силой таланта Надежды Яковлевны и силой таланта Осипа Эмильевича озарены внезапным ярким светом. Поздравьте от меня, Наталья Ивановна, Надежду Яковлевну. Ею создан документ, достойный русского интеллигента, своей внутренней честностью превосходящий все, что я знаю на русском языке. Польза его огромна. Если отдельные замечания, отдельные выводы и оспаривают многие, то этих замечаний очень мало, и во всех случаях мысль, высказанная автором, честна, не предвзята и вполне самостоятельна.

Самостоятельный характер, его глубину и высоту я видел и при первой встрече, конечно. Но ожидания мои были превзойдены широтой, тонкостью, глубиной всех этих удивительных страниц. Надежда Яковлевна ставит многих людей, встреченных ею в жизни, на свое место, истинное место, а прежде всего на свое истинное место Надежда Яковлевна ставит самую себя. Позвольте мне вас поблагодарить, Наталья Ивановна, за вашу всегдашнюю заботу обо мне и этот новый подарок.

Ваш В. Шаламов.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Переписка В. Т. Шаламова и Н. Я. Мандельштам охватывает 1965—1968 годы — период их близкой дружбы. В Москве они тогда почти еженедельно встречались и беседовали у Надежды Яковлевны на кухне (ее всем известная гостиная). Летом же, когда она уезжала в Тарусу или Верею, беседы продолжались в письмах.

Переписка публикуется по оригиналам писем Н. Я. Мандельштам и черновикам писем В. Т. Шаламова, сохранившимся в архиве писателя (ф. 2596, оп. 3, е. х. 253, 334).

Публикатор счел необходимым сделать небольшие купюры в некоторых местах, где авторы писем затрагивают личные отношения ныне здравствующих людей.

В подборку включено также тематически примыкающее к публикуемой переписке письмо В. Т. Шаламова Н. И. Столяровой.

<sup>1</sup> Надежда Мандельштам. «Воспоминания».

<sup>2</sup> Столярова Наталья Ивановна (1912—1984) — переводчик, в 1937—1946 гг. была репрессирована.

<sup>3</sup> Асанов Николай Александрович (1906—1974) — писатель.

<sup>4</sup> Ласкина Евгения Самойловна (1915—1991), в те годы зав. отделом поэзии журнала «Москва».

<sup>5</sup> Грин Елена Алексеевна, была в лагере вместе с Н. И. Столяровой.

<sup>6</sup> Кинд Наталья Владимировна (по мужу Рожанская) — геолог, друг Н. Я. Мандельштам.

<sup>7</sup> «Артист лопаты» и «Левый берег» — сборники рассказов В. Шаламова, завершены в 1965 году. Рассказ «Уроки любви» включен автором в сборник «Перчатка, или КР-2».

<sup>8</sup> О. Мандельштам. «Голубые глаза и горячая лобная кость...»

<sup>9</sup> Имеется в виду книга Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы», Библиотека поэта, Большая серия. Второе издание, М.—Л., «Советский писатель», 1965.

<sup>10</sup> Герой романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» Юрий Живаго.

<sup>11</sup> Н. С. Гумилев.

<sup>12</sup> Оттен (Поташинский) Николай Давидович (1907—1983) — литературовед, сценарист.

<sup>13</sup> Степина Пелагея Федоровна (1904—1985) — хозяйка дома в Тарусе, где Н. Я. Мандельштам жила летом.

<sup>14</sup> Вигдорова Фрида Абрамовна (1915—1965) — писатель.

<sup>15</sup> Голышева Елена Михайловна (1906—1984) — переводчик.

<sup>16</sup> Рукопись первого сборника «Колымских рассказов».

<sup>17</sup> Рассказ В. Шаламова «Сентенция», завершающий сборник «Левый берег» и посвященный Н. Я. Мандельштам.

<sup>18</sup> По словам В. Шаламова, литературовед Э. Г. Герштейн, прочитав первый



сборник «Колымских рассказов», сказала ему: «Вы можете ничего больше не писать, с этим вы войдете в литературу».

<sup>19</sup> Вейсберг Владимир Григорьевич (1924—1985) — художник.

<sup>20</sup> Речь идет о варианте рассказа В. Шаламова «Дело юристов» из первого сборника «Колымских рассказов».

<sup>21</sup> Рассказ о вышивальщице называется «Галстук».

<sup>22</sup> Говоря о повторах, Н. Я. Мандельштам имеет в виду рассказы «Кант» и «Стланик», «Заклинатель змей» и «Дождь». В. Шаламов считал повторы ритмической особенностью своей прозы.

<sup>23</sup> «Тифозный карантин» — рассказ В. Шаламова из первого сборника «Колымских рассказов».

<sup>24</sup> Разрыв отношений В. Шаламова с Б. Пастернаком последовал в 1956 г., одной из его причин была ссора Шаламова с О. Ивинской, близким другом Пастернака.

<sup>25</sup> Глен Ника Николаевна — переводчик, редактор.

<sup>26</sup> Шкловская Василиса Георгиевна — жена В. Б. Шкловского.

<sup>27</sup> Швейцер Виктория Александровна — литературовед.

<sup>28</sup> Хазин Евгений Яковлевич, брат Н. Я. Мандельштам, и его жена Елена Михайловна.

<sup>29</sup> Неклюдова Ольга Сергеевна (1909—1989) — вторая жена В. Шаламова.

<sup>30</sup> Харджиев Николай Иванович (р. 1903) — литературовед, искусствовед. Какое-то время у него находился архив О. Мандельштама.

<sup>31</sup> Морозов Александр Александрович — литературовед, готовил к изданию «Разговор о Данте» О. Мандельштама (М., 1967).

<sup>32</sup> «Разговор о Данте» О. Мандельштама.

<sup>33</sup> Демидов Георгий Георгиевич (1908—1987), Лесняк Борис Николаевич (р. 1917) — лагерные друзья В. Шаламова.

<sup>34</sup> Андреева-Корлайл Ольга — американский литературовед.

<sup>35</sup> Браун Кларенс — американский литературовед.

<sup>36</sup> Илья Григорьевич Эренбург (1891—1967) был смертельно болен.

<sup>37</sup> Павлович Надежда Александровна (1895—1980) — поэт. Елизавета Смердящая — персонаж романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

<sup>38</sup> Неклюдов Сергей Юрьевич — сын О. С. Неклюдовой.

<sup>39</sup> Похороны И. Г. Эренбурга.

<sup>40</sup> Сучков Федот Федотович (1915—1991) — скульптор, поэт.

<sup>41</sup> Упоминание об этом письме см. в письме В. Шаламова Н. Мандельштам от 29 июня 1965 г.

<sup>42</sup> Надежда Мандельштам «Воспоминания».

<sup>43</sup> О. Мандельштам «Ода», Б. Пастернак «Живет не человек — деянье» — стихотворения апологетического характера о Сталине.

<sup>44</sup> «...ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях — одна, одно, в каждом — вся, так же, как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц...» (М. Цветаева «Эпос и лирика современной России». См. М. Цветаева «Об искусстве», М., 1991, стр. 294).

<sup>45</sup> А. Блок, из Пролога к поэме «Возмездие».

Публикация и примечания И. Сиротинской